
МИЛА СЕВЕРИНА
Бывшая жена генерала-дракона
Любишь меня или мой запах?

Мила Северина

Бывшая жена генерала-дракона. Любишь меня или мой запах?

«Автор»
2026

Северина М.

Бывшая жена генерала-дракона. Любишь меня или мой запах? / М. Северина — «Автор», 2026

Мой бывший муж, генерал-дракон, наконец меня услышал. Его зверь повернул голову через весь зал — ко мне, через семь лет после свадьбы и через сто пятьдесят дней после развода. Только кого он любит: меня — или мой запах?Я надела «Тишину» и перестала пахнуть. Пусть попробует без запаха. Три шага — ближе не подходи.Но у Гильдии ароматов мой настоящий запах. Лорды-драконы один за другим оказываются на поводке. А моя тётя готовит для наследника истинную, которая будет пахнуть мной.Чтобы спасти чужого жениха, мне придётся войти в Янтарную башню одной. А ему — научиться любить то, чего он не слышит.Вторая книга трилогии «Аромат истинной». Начните с книги «Бывшая жена генерала-дракона. Истинная пахнет ложью».После развода. Генерал-дракон. Истинная. Испытание без запаха. Героиня-парфюмер.

© Северина М., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Тишина по выбору 6
Глава 2. Три шага 11
Глава 3. Прощение 16
Глава 4. Гранатовый дракон 21
Глава 5. Отвязка 25
Глава 6. Ведьма 30
Глава 7. Запах себя 34
Глава 8. Небо над Тальмой 38
Конец ознакомительного фрагмента. 39

Мила Северина
Бывшая жена генерала-дракона. Любишь меня или мой запах?

Мила Северина
Бывшая жена генерала-дракона
Любишь меня или мой запах?
Трилогия «Аромат истинной». Книга вторая

Глава 1. Тишина по выбору

«Тишина» легла на кожу холодно, как первый снег на тёплую ладонь, — и я перестала пахнуть.

Я почувствовала это не носом. Свой запах не слышишь, как не слышишь со стороны свой голос. Я почувствовала это по Фитилю. Он лежал у печки, положив седую морду на лапы, и, когда я провела мокрой пробкой по запястьям и по ямке под горлом, поднял голову. Принюхался. Встал. Подошёл ко мне на трёх лапах — четвёртая, задняя, с Ночи Смол плохо гнулась в сырую погоду — и обнюхал мне руки, колени, подол. Долго. Озадаченно. Потом заскулил, тонко, как скулят под закрытой дверью.

— Я здесь, — сказала я. — Я никуда не делась.

Фитиль подумал, вздохнул и положил голову мне на ступню. Собаки любят не только носом. Хорошо, что хоть кто-то.

Я закрыла флакон и подержала его на свету. Мамин хрустальный треснул в пожаре, этот был простой, тёмного стекла, с притёртой пробкой. Внутри — на два пальца прозрачной жидкости, которая пахла ничем. Совсем ничем: ни спиртом, ни солью, ни травой. Чистое стекло. Пустая комната.

Последний немой корень. Одна варка — вот этот флакон. На год, если мазать тонко и беречь.

Мама прятала меня под «Тишиной» с шести лет, чтобы меня не нашли. Я надела её сама, в двадцать девять, чтобы меня перестали находить. Это не одно и то же. Я думала об этом двенадцать ночей, пока настаивался корень, и каждую ночь приходила к одному.

Сто пятьдесят дней назад мой муж, лорд-генерал Арман Валеро, генерал-дракон Южной армии, погасил наш брак при всём дворе: его зверь «нашёл истинную», и он сам вылил морскую воду на нашу брачную курильницу. Семь лет я пахла для него пустой комнатой. Семь лет он не подходил ко мне ближе вытянутой руки. А в Ночь Смол, когда истинная оказалась подделкой и поводок на его звере лопнул, этот зверь повернул голову через весь зал — ко мне. И выбрал.

Через семь лет.

С тех пор зверь хочет меня всегда. Я слышала это каждый вечер, тридцать вечеров подряд, через дверь моей лавки. Он стоял на улице, а зверь в нём лежал у порога, как Фитиль у печки, и дышал моим запахом.

А я не знала, кого слышу. Его — или зверя.

Пусть теперь попробует без запаха. Пусть любит меня, а не мой запах. Или не любит. Тогда я хотя бы буду знать.

И ещё — носы Гильдии. Их в Тальме за последний месяц стало больше, чем чаек на старом пирсе.

* * *

Зима пришла в Тальму штормами.

Море вторую неделю било в дамбу так, что брызги долетали до улицы Медных Весов. Небо висело низко, пахло солью и мокрым железом. По утрам на стёклах лавки оставалась белая соляная корка, и Нико соскребал её ножом, ругаясь не хуже рыбачек.

Лавка стояла. Ветераны Южной армии отстроили её за месяц: ракушечные стены бабушки, новые светлые стропила, черепица, орган из ясеня в двенадцать уступов до потолка. Половина ячеек ещё пустовала. Над дверью качалась медная вывеска-флакон, перелитая из старой, на ладонь меньше прежней.

А в задней комнате жили женщины с лентами.

Сначала Сабина Монтеро, жена лорда-адмирала Западного флота, которую муж погасил ради «истинной», пахнущей сорванным листом даже в полночь. Она постучала ко мне за пол-

ночь две с лишним недели назад, мокрая, с синими губами, и с тех пор не уходила. Потом Мариса — она не была ничьей женой и ленты не носила, но приходила до света и уходила затемно, и задняя комната без неё не жила. А пять дней назад, в самый шторм, с почтового судна сошла третья.

Леди Элена Дорсан.

Я узнала её не сразу. В ночь победного бала, когда мой муж нашёл истинную, леди Дорсан стояла рядом со мной в шелку и жемчуге и шептала, не глядя на меня: «Вот и всё, милая. Поздравляю». А когда я сказала вслух, что истинная — подделка, она громко прошептала: «Бедняжка». Я помнила этот голос.

Теперь она стояла на пороге моей лавки в дорожном плаще, с саквояжем, без жемчуга. На запястье, под тонкой перчаткой, — серая шёлковая лента в палец шириной. От неё пахло розовой водой, тёплым воском — и горем, старым и усталым, как пахнет дом, где давно не открывали окон.

— Леди Мерель, — сказала она. — Я знаю, что не имею права. Я сказала вам тогда «бедняжка». Я не знала, какое это тяжёлое слово.

Я посторонилась и пропустила её внутрь.

По закону имён мужей у нас больше не было. Но в задней комнате мы звали друг друга так, как звали раньше: так легче было помнить, у кого что отняли.

Лорд Тибо Дорсан, сизый дракон, нашёл истинную в начале зимы. Девушку с холодной ровной меткой и с горькой зеленью, которая не уходила до утра. Элена прожила с ним девятнадцать лет.

* * *

— Не так, — сказала я. — Мешайте от себя. Медленно. Мыло не любит, когда его торопят.

Сабина, высокая, прямая, в простом сером платье Марисы, стояла над медным тазом с ложкой в руке и смотрела в него так, словно таз мог её укусить. Двенадцать лет она командовала прислугой цитадели Западного флота. Мыло она варила в первый раз в жизни.

— Оно густеет, — сказала она. — Это правильно?

— Правильно. Теперь лаванду.

Элена отмерила лаванду. У неё были тонкие, точные руки и хороший нос — лучше, чем она сама думала. На третий день она сказала, что в нашей мяте есть «что-то холодное, как ручей», и я ахнула: так и было, Кора рвала её у старого колодца. Мариса за соседним столом подписывала пробные ленточки ровным почерком, высунув кончик языка. Нико растирал в ступке сушёный ирисовый корень и шёпотом ругался, потому что пыль летела ему в нос.

Пахло лавандой, щёлоком, ирисовым корнем, морем из-под двери и горячим хлебом из пекарни Тонио через улицу.

Кора сидела в бабушкином кресле у окна — кресло обгорело с одного бока, я так и не стала его обивать, — и штопала Лорану рубашку, ругая его за то, что он оставил её в Тальме, а сам улетел с генералом. Ругала она его каждый день. Каждый день штопала.

— Дармоедки, — сказала она, не поднимая головы. — Три графини в одной задней комнате. И ни одна рыбу почистить не умеет.

— Я не графиня, — сказала Элена.

— А я — тем более, — сказала Сабина.

— Вот и учитесь, — сказала Кора. — Пока ваши драконы нюхают невесть что.

Сабина опустила ложку. Помолчала.

— Мальчики пишут, — сказала она вдруг. — Старший. Ему одиннадцать. Пишет, что в доме по-прежнему пахнет зеленью. Что новая госпожа добрая, но от неё у младшего болит голова. Что отец по ночам не спит и ходит по стене цитадели. — Она помешала мыло. Медленно. От себя. — Там тоже пахнет сорванным листом, госпожа Ирис. В Ларго. До сих пор.

Никто ничего не ответил. Мыло густело в тазу.

Я знала, что это значит. Знала с той ночи, когда Сабина постучала в мою дверь. В Ночь Смол разорвался один поводок — на моём бывшем муже. Но он был не единственным. Где-то в Ларго, в цитадели на мысу, гранатовый дракон ходил по ночам по стене и не понимал, почему не может спать.

* * *

Письма приходили каждый день.

С почтовым судном, с голубями Лорана, с курьерами Адмиралтейства. Двенадцать писем за двенадцать дней. Нико приносил их мне с таким лицом, словно каждое было лично от него.

Арман писал коротко. Почерк у него был прямой, жёсткий, военный — я семь лет видела этот почерк только на распоряжениях кастеляну: «Пусть леди Валеро не утруждается». Теперь он писал мне.

«Совет лордов заседает третий день. Половина домов спрашивает, как я понял про поводок. Я отвечаю, что понял не я. Они не верят. Адмирал Ренье спросил, можно ли проверить его жену. Я сказал — спросите у неё. Он обиделся. А.»

«Альбера в снегу. Здесь не бывает снега чаще, чем раз в десять лет. Император говорит, это знак. Знак чего — не говорит. Сплю с твоим „Сном“. Сплю. А.»

«Кора пишет, что ты не ешь. Ешь. А.»

Я не отвечала на каждое. Иногда — строчкой. «Ем». «Шторм». «Нико сварил второе — мята и дёготь, получилось ужасно, он доволен». Он отвечал на каждую строчку, как на целое письмо.

Последнее пришло вчера, к вечеру, и оно было другим.

«Гильдия говорит, что в Ночь Смол ты опоила меня. Что проявитель — тоже приворот, только хитрее. Что я не освободился, а сменил поводок. Совет Башни требует твоего „испытания носа“. Канцлер колеблется. Я делаю, что могу. Не выходи на площадь одна. Лоран держит голубей наготове. А.»

Я перечитала его три раза.

Сменил поводок. Ну конечно. Самое простое объяснение, когда не хочешь видеть сложное: она не разбила ошейник, она надела свой.

Я сложила письмо и убрала в шкатулку, к остальным одиннадцати. Шкатулка пахла бабушкиным воском, апельсиновым цветом и — едва-едва — им: дымом, кожей, сталью, сухой травой. Письма держали его запах. Я его слышала. Зверь, наверное, — тоже держал мой. До сегодняшнего утра.

Теперь держать будет нечего.

* * *

Глашатай Гильдии вышел на площадь у ратуши в полдень.

Я услышала его раньше, чем увидела. Медный рожок — три коротких, один долгий, — и голос, хорошо поставленный, столичный, перекрывающий шторм:

— Именем Совета Янтарной башни! С дозволения канцлера империи!

Нико выскочил на улицу первым. Я — следом, как была, в фартуке, с руками в лавандовой пыли.

Площадь была полна. В шторм никто не работал, и вся Тальма, кажется, вышла посмотреть. Рыбачки в мокрых платках, грузчики, прачки Коры, ветераны у ступеней ратуши. Сам Ансельм в мундире портовой стражи, с единственной рукой на эфесе. Судья Креспен на балконе ратуши, сухой и серый, с бумагой в дрожащей руке — он прочитал её раньше нас, это было видно по лицу.

Глашатай стоял на ступенях — молодой, в янтарно-сером плаще Гильдии, с медным рожком на шнуре. За ним — восемь стражников Башни: янтарные нашивки на плечах, короткие мечи, лица без выражения. И один нос: немолодая женщина в сером, с узким лицом и узкими

губами, в тонких перчатках. Она стояла чуть в стороне и не смотрела на толпу. Она нюхала ветер.

— Мастерица Ирис Мерель, — читал глашатай, — уроженка Тальмы, бывшая леди Валеро, обвиняется Советом Башни в изготовлении приворотного дыма, коим в Ночь Смол опоила лорда-генерала Валеро, выдав его за так называемый проявитель. Совет Башни вызывает мастерицу Мерель на испытание носа в Янтарную башню, дабы она доказала перед мастерами, что не варит запретных составов. До испытания мастерица Мерель берётся под охрану Гильдии. Отплытие — сегодня, с вечерним приливом. Именем Совета!

Площадь молчала. Потом Нунция крикнула с рыбного ряда:

— Да чтоб вам треской подавиться!

И площадь заорала.

Я стояла у края толпы и смотрела на женщину в сером. Она медленно поворачивала голову — вправо, влево, — как поворачивает голову собака, у которой отобрали след.

Она меня не слышала.

Она искала открытую женщину, которую Ориана Мерель описала ей так подробно, что та могла бы найти её с закрытыми глазами в Зале курильниц. Хлеб, гроза, ирисовый корень. А на площади у ратуши стояла пустая комната в фартуке.

Я поняла, что улыбаюсь, и перестала.

Креспен что-то кричал с балкона — про магистрат, про порядок, про то, что Тальма не выдаёт своих без суда. Глашатай поднял над головой свиток с печатью канцлера, и Креспен замолчал. Печать канцлера была выше печати магистрата.

— Госпожа, — сказал Нико рядом со мной сквозь зубы. — Уходим. Через двор Коры, к лодкам. Ансельм вывезет.

— Нет.

— Госпожа!

— Если я побегу, они скажут: вот, бежит, значит, виновна. — Я смотрела на свиток. — Беглых пишут на столбах. В каждом порту. Бабушка заставляла меня читать законы вслух — я помню.

— Они тебя увезут в Башню! К твоей тётке!

— Знаю.

Я не знала, что делать. Это была правда, и я заставила себя её признать. Бежать — значит, стать ведьмой навсегда. Остаться — значит, сесть на быстрое гильдейское судно и через три дня стоять в Янтарной башне перед советом мастеров, где каждый — тётин, и доказывать носом то, чего нос не докажет. Тётя будет стоять в стороне, в сером, с безупречными перчатками. И улыбаться — редко и красиво.

«Тебя тоже велено. Живой».

Я вернулась в лавку. Сняла фартук. Вымыла руки — лаванда ушла в таз мутной синей водой. Надела бабушкину шаль. Посмотрела на орган, на полупустые ячейки, на «Дом» Нико в самой первой, нижней.

Женщины стояли в дверях задней комнаты. Сабина — прямая, бледная. Элена — с руками у горла. Мариса — с мокрыми глазами. Кора поднялась из кресла и встала посреди лавки, огромная, уперев руки в бока.

— Через мой порог они не пройдут, — сказала она.

— Пройдут, — сказала я. — У них печать канцлера. Не надо, Кора. Не давай им повода.

Она смотрела на меня долго. Потом отвернулась к окну.

— Пепел им в ноздри, — сказала она глухо.

Через час стража Башни стояла у моего порога.

Восемь человек полукругом на мокром булыжнике улицы Медных Весов. Глашатай. Нос в сером. За ними — половина Тальмы, молча, плотной стеной, от колодца до прачечной.

Шторм бил в дамбу, и брызги летели через крыши. Небо стало совсем тёмным, хотя до вечера было далеко.

Я вышла на порог.

— Мастерица Мерель, — сказал старший стражник. Крупный, с обветренным лицом, с янтарной нашивкой на плече. — Пройдёмте. По-хорошему.

— Я иду сама, — сказала я. — Не трогайте меня.

Он шагнул ко мне и протянул руку к моему локтю — привычно, равнодушно, как берут под руку пьяного на пристани.

Над улицей потемнело.

Не от туч. Тень упала сверху — огромная, быстрая, — и прошла по мокрым крышам, по улице, по лицам. Ветер ударил в лицо — горячий, сухой, против шторма, пахнущий дымом. Стражник отдёрнул руку и задрал голову. Женщина-нос в сером присела, закрыв голову руками. Кто-то в толпе закричал.

И между мной и стражей Башни, на мокрый булыжник улицы Медных Весов, с грохотом, от которого задрожали стёкла в лавке, сел охряный дракон.

Глава 2. Три шага

Дракон сложил крылья, и на улице стало тесно, как в сундуке.

Он был огромный. За семь лет брака я видела его только издали — с балконов, с причалов, из окна кареты — и каждый раз забывала, какой он огромный. Охряная чешуя, тёмная на спине и светлая, почти золотая, на горле. Гребень, задевший вывеску: медный флакон качнулся и звякнул. Жёлтые глаза с вертикальным зрачком. От него шёл жар, как от печи, и пахло дымом, горячим камнем и сухой степной травой, которая в Тальме не растёт.

Стражники Башни попятились. Глашатай уронил рожок. Женщина-нос в сером сидела на мокром булыжнике и смотрела вверх, открыв рот.

Дракон повернул голову ко мне.

Я стояла на пороге, в бабушкиной шали, в трёх шагах от его морды. Он наклонил голову и втянул воздух — длинно, шумно, так, что у меня шевельнулись волосы на висках. Замер.

Потом выдохнул. И в этом выдохе было что-то, от чего мне стало холодно, — недоумение. Почти обида. Так выдыхает пёс, уткнувшийся носом в закрытую дверь.

Он меня не услышал.

Дракон отвернулся от меня к страже. Чешуя пошла рябью — и он начал уменьшаться, складываться, втягиваться сам в себя, как втягивается дым обратно в курильницу. Несколько вдохов — и на мокром булыжнике стоял человек. Высокий, в мундире генерала Южной армии с охряной чешуйной нитью на рукавах, с мокрыми от брызг волосами. На ключицах, в вырезе воротника, ещё темнели чешуйки.

Со спины дракона, точнее, уже ниоткуда, на булыжник неловко свалился Лоран. Встал. Отряхнулся. Лицо у него было зелёное.

— Никогда больше, — сказал он в пространство. — Пепел мне в ноздри. Никогда.

* * *

— Генерал Валеро, — сказал Арман страже. Спокойно, негромко. Так, как говорят люди, которым не нужно повышать голос. — Командующий Южной армией. Кто старший?

Крупный стражник с янтарной нашивкой шагнул вперёд. Он был бледен, но держался.

— Капитан стражи Башни Гюс, милорд. У нас приказ Совета Башни и печать канцлера. Мастерица Мерель…

— Тальма — военный порт Южной армии, — сказал Арман. — Морское уложение, статья первая. В военном порту под стражу берут только по слову командующего. Я своего слова не давал.

— Печать канцлера, милорд…

— Канцлер подписывает бумаги для магистратов. Не для армии. — Арман смотрел на него без злости, почти устало. — Хотите спорить — везите свою бумагу императору, пусть он перепишет уложение. Я подожду.

Капитан Гюс посмотрел на свиток в руке глашатая. На толпу за спиной. На Ансельма у колодца с единственной рукой на эфесе. На двадцать ветеранов, которые как-то сами собой оказались между стражей и улицей. На Лорана, который всё ещё был зелёным, но уже держал ладонь на рукояти клинка.

Он был не дурак, капитан Гюс. Он посчитал.

— Совет Башни будет извещён, милорд, — сказал он.

— Извещайте.

Стража Башни ушла к гавани — строем, не оглядываясь. Глашатай подобрал рожок и побежал за ними. Женщина-нос поднялась с булыжника последней. Отряхнула серую юбку. И, прежде чем уйти, посмотрела на меня — долго, пристально, — и в её взгляде было то же, что в драконьем выдохе. Недоумение.

Она не понимала, кого обнюхивала весь день. Тётя описала ей хлеб и грозу. А на пороге лавки стояла я — и ничем не пахла.

Нос ушла. Улица Медных Весов выдохнула.

И только тогда Арман обернулся ко мне.

* * *

Арман

Я не услышал её.

Я летел два дня и ночь — от Альберы вдоль берега, против шторма. Записка Матео — «Канцлер подписал. Глашатай Башни отплыл в Тальму. Испытание носа» — застала меня на крыльце Адмиралтейства, и я поднялся в небо прямо оттуда, на глазах у караула. Последний день я уже не летел, а падал вперёд, как падал осенью, когда горела лавка.

Я сел перед её дверью, и зверь потянулся к ней первым. Привычно. Жадно. Он ждал хлеба, грозы, ирисового корня, ждал того, чем пахло на террасе в Ночь Смол и через дверь тридцать вечеров подряд.

А там ничего не было.

Пустая комната. Чистое стекло. То, чем она пахла семь лет нашего брака, когда я проходил мимо неё в коридоре и не поворачивал головы.

Зверь растерялся. Втянул воздух ещё раз — и ещё. Обнюхал порог, ступени, косяк — её там не было. Она стояла тут же, живая, в шали, с лавандовой пылью под ногтями, и смотрела на меня, а для зверя её не было. Он заскулил внутри меня — тонко, как пёс под закрытой дверью, — и мне стало так плохо, что я едва удержал лицо перед стражей.

Потом я понял.

Она сделала это нарочно.

Не от Гильдии — то есть и от Гильдии тоже, нос в сером весь день кружила по площади вслепую, — но не только. Она надела «Тишину» для меня. Чтобы я стоял перед ней — и не слышал. Чтобы я смотрел на неё глазами, а не носом.

Я посмотрел.

Тени под глазами. Прядь, выбившаяся из косы. Шаль, накинутая наспех, — не та, в которой она стояла на террасе. Синяя пыль под ногтями. Губы, сжатые так, что побелели. Она боялась. Не меня — того, что было за мной: печати канцлера, Совета Башни, тёти. И стояла на пороге прямо, как стояла в Зале курильниц.

Зверь скулил. Я смотрел.

Она была такой же, как вчера. Как тридцать вечеров через дверь. Как семь лет за стеной. Это я был другим.

* * *

В лавке пахло лавандой, щёлоком и мокрым мундиром. Женщины задней комнаты стояли у стены рядком, как ученицы перед наставником: высокая леди Монтеро, леди Дорсан, Мариса. Нико сидел на нижнем уступе органа. Мать — в бабушкином кресле, со штопкой на коленях, с лицом, которое не обещало мне ничего хорошего.

Ирис встала за прилавок — так, чтобы он оказался между нами.

— Тебя не оставят в покое, — сказал я. — Совет Башни хочет испытания носа. Это повод. Им нужна ты — в Башне, под замком, рядом с Орианой. Сегодня ушли. Через неделю привезут бумагу с печатью императора.

— Знаю.

— Снять с тебя обвинение можно одним способом. Доказать, что поводки — не мой бред и не твой приворот. Что они есть на других. Если я один кричу про поводок — я сумасшедший генерал, которого опоила бывшая жена. Если пятеро лордов — это заговор. Заговор против Великих домов. Тогда Совету Башни придётся отвечать, а не спрашивать.

Сабина Монтеро у стены вздрогнула.

— Первый — Монтеро, — сказал я, не глядя на неё. — В Ларго. Я знаю Гвидо двадцать лет. Он не спит, ходит по стене и рычит на собственных капитанов. Адмиралтейство шепчется. Если с него снять поводок при всём Западном флоте…

— «Если», — сказала Ирис.

— У меня — доступ к лордам. Меня пустят в любую цитадель империи, пока у меня армия. У тебя — нос. Вместе.

Она молчала долго. Смотрела на меня через прилавок. Я не слышал, что она чувствует, — раньше слышал бы: страх пахнет кисло, злость — горячо, растерянность — как пыль. Теперь видел только лицо. И понял, что за семь лет так и не научился читать её лицо.

— Хорошо, — сказала она. — Вместе. С условиями.

— Говори.

— Три шага. — Она показала глазами на пол между нами. — Ближе не подходи. Никогда, пока я не скажу. Ни в дороге, ни в Ларго, ни ночью.

— Хорошо.

— «Тишину» я не сниму. Ни для тебя, ни для твоего зверя.

— Почему?

Она помолчала.

— Потому что я хочу знать, кого ты пришёл спасать, — сказала она. — Меня или мой запах.

Зверь во мне глухо рыкнул. Он ненавидел эту пустую комнату. Он ненавидел её так, как ненавидят запертую дверь, за которой точно знаешь, что есть хлеб.

— Три шага, — сказал я. — И «Тишина». Согласен.

Мать в кресле фыркнула так громко, что Нико подскочил на уступе.

— Три шага, — сказала она в пространство, не поднимая головы от штопки. — Семь лет ни одного шага не делал. А тут — три. Щедрый.

— Мама.

— Молчу. — Она перекусила нитку. — Я старая прачка, мне что. Я только говорю: этот вот, — она показала иглой на меня, — в четыре года ни одной ночи не мог проспать, если дверь в мою спальню была закрыта. Плакал под ней, пока не откроют. Посмотрим, сколько теперь выдержит.

Лоран, стоявший у двери, кашлянул в кулак. Достал из кармана апельсин. Подумал. Достал ещё три и пошёл вдоль стены, раздавая женщинам задней комнаты по апельсину, с поклоном, как раздают на балу приглашения на танец.

— Лоран Фавье, капитан, — говорил он каждой. — К вашим услугам. Не пугайтесь генерала. Он кусается, только если не выспался.

Элена Дорсан взяла апельсин и в первый раз за пять дней засмеялась.

* * *

Ирис

Слуга лорда Монсо пришёл, когда уже стемнело.

Пожилой, в старомодной ливрее цвета винного осадка, промокший до нитки, с фонарём, который задуло ветром ещё у колодца. Он стоял на пороге и мял в руках шапку. От него пахло морем, лошадиным потом, сушёными фигами и чем-то старым, домашним — нагретым на солнце камнем, как пахнут дворы, где никто давно не поливал цветов.

— Мастерица Мерель? — спросил он. — Та, что из Ночи Смол?

— Я.

— Меня зовут Бенуа. Я служу лорду Аристиду Монсо сорок шесть лет. — Он поклонился, неловко, мокро. — Вилла Монсо — на мысу за Сольмаре, полтора дня пути, по дороге на Ларго. Хозяин умирает, мастерица. Лекарь говорит — до новой луны, не дольше.

— Мне очень жаль. Но я не лекарка.

— Ему не нужен лекарь. — Бенуа поднял на меня глаза, красные от ветра и от чего-то ещё. — Ему восемьдесят восемь. Сорок лет назад он погасил жену. Леди Матильду. Его зверь нашёл истинную. А через год истинная пропала, и зверь уснул, и хозяин остался один в пустом доме. Сорок лет. — Бенуа помолчал. — Когда до виллы дошли слухи из Альберы — про Ночь Смол, про поддельную истинную, — хозяин три дня не говорил ни слова. А потом позвал меня и сказал: «Найди ту мастерицу. Пусть сделает мне запах прощения. Я хочу попросить у Матильды прощения, пока жив. А словами не умею».

В лавке стало тихо. Сабина у стены закрыла лицо ладонями. Кора отложила штопку.

Я смотрела на Бенуа.

Запах прощения. Такого состава нет ни в одной бабушкиной тетради. Ни в маминой. Ни в книгах Башни. Есть «Сон», есть «Голос» — то, что я сварила для Джулии Ортис, чтобы она сказала «нет» при всём городе. Действующие ароматы, которые помогают человеку сделать то, что он и так хочет сделать, но боится.

Прощение — тоже такое.

— Вилла по дороге на Ларго? — спросил Арман.

Он стоял у двери, в трёх шагах от прилавка, — ровно в трёх, я видела, как он отмерил их глазами, когда вошёл Бенуа, и не сдвинулся. Весь вечер он стоял там. Ел апельсин, который дал ему Лоран. Слушал. Ни разу не шагнул ближе.

— По дороге, милорд, — сказал Бенуа. — Прямо над морем.

Арман посмотрел на меня. Не спросил. Ждал.

— Мне нужно знать, чем пахла леди Матильда, — сказала я Бенуа. — И их дом, когда они были молоды. Всё, что вы помните. Хозяин тоже.

— Я помню всё, мастерица. — Бенуа выпрямился. — Я был мальчиком на кухне, когда она пришла в дом невестой.

* * *

Выезжали на рассвете.

Шторм к утру выдохся. Небо над морем было серым, мокрым, тихим, и ветер дул с суши — холодный, пахнущий мокрой землёй и дымом из печных труб. Лоран раздобыл в форте лошадей. Бенуа сидел на своей — смирной, старой, такой же мокрой, как он. Нико — на гнедом мерине, с Фитилём, привязанным позади седла в корзине: Фитиль был этим возмущён и ворчал на всю улицу. Мой дорожный ящик с пробирками, спиртовкой и бабушкиными ленточками навьючили на запасную лошадь.

Кора стояла у двери прачечной, сложив руки, и смотрела на нас, как смотрят на войско, уходящее на заведомо дурацкую войну.

— Сабина остаётся за старшую, — сказала я ей. — Мариса — за органом. Элена — за мылом.

— А я? — спросила Кора.

— А ты — за всеми.

Она хмыкнула. Подошла к Арману, поправила ему ворот мундира и сказала: «Не сутулься». Потом подошла ко мне — и вдруг обняла. Коротко, сильно, пахнущая крахмалом.

— Если он подойдёт ближе трёх шагов, — сказала она мне в ухо, — дай ему по шее. Я разрешаю.

Арман подвёл мне лошадь. Невысокую, рыжую, с белой звёздочкой на лбу. Остановился поодаль и отдал повод Лорану, чтобы тот передал мне.

Я взяла повод. Посмотрела на стремя. На седло. На лошадь, которая смотрела на меня с умеренным интересом.

— Мне нужно кое-что сказать, — сказала я.

Арман ждал.

— Последний раз я сидела в седле семь лет назад. За месяц до свадьбы. Бабушка сказала, что жене лорда-дракона полагается уметь ездить верхом, и наняла мне учителя. Я упала на третьем уроке. — Я вздохнула. — С тех пор — нет. Ни разу.

Лоран отвернулся к морю, и плечи у него затряслись. Нико хрюкнул в рукав.

Арман смотрел на меня серьёзно, не улыбаясь. Только у глаз появились морщинки — тонкие, которых я раньше у него не видела.

— Я знаю, — сказал он. — Учителю платил дом, и он доложил Гаспару. Гаспар — мне. Я тогда велел отменить уроки. А через месяц, после свадьбы, написал Гаспару то, что писал потом семь лет: «Пусть леди Валеро не утруждается». — Он помолчал. — Я был дураком семь лет назад, Ирис.

— Был.

— Полтора дня до виллы Монсо. Лошадь смирная. Лоран будет рядом.

— А ты?

— В трёх шагах, — сказал он.

Я вставила ногу в стремя.

Глава 3. Прощение

Вилла Монсо стояла на самом краю мыса, над морем, так близко к обрыву, что казалось — ещё один шторм, и она шагнёт вниз.

Мы добрались туда к вечеру второго дня, когда солнце уже садилось в воду. Белые стены, облупившиеся до розового камня. Внутренний двор с колодцем и старым фиговым деревом, голым по зиме. Ставни на всех окнах, кроме одного — на втором этаже, над морем. Там горела лампа.

Я слезла с лошади так, как слезают с лошади люди, которые полтора дня провели в седле впервые за семь лет. То есть почти упала. Лоран, ехавший рядом, подхватил меня под локоть, поставил на землю и тут же отпустил.

Арман слез первым и смотрел, как я слезаю. Он ничего не сказал. Только губы у него дрогнули.

— Не смейся, — сказала я.

— Я не смеюсь.

— У тебя лицо смеётся.

— Лицо — да, — признал он. — Я — нет.

Фитиль, выпущенный из корзины, обежал двор и сразу почувствовал себя здесь хозяином.

* * *

Лорд Аристид Монсо лежал в постели у окна, лицом к морю.

Он был очень стар — маленький, высохший, почти невесомый под тяжёлым одеялом. Белые волосы, редкие, как пух. Руки поверх одеяла — пятнистые, с узловатыми пальцами, с тонкими серыми чешуйками на тыльной стороне ладоней. Глаза — тусклый янтарь, почти белый.

Он был драконом. Когда-то. Сейчас зверь в нём, если и был жив, спал так глубоко, что я не слышала его вовсе.

От него пахло старостью — сухой кожей, лекарственной горечью, ночной рубашкой, которую меняли дважды в день. И под этим, едва-едва, — дымом. Старым, тихим, как пахнет остывший очаг в доме, где давно не готовили.

— Мастерица, — сказал он. Голос был тонкий, свистящий, но ясный. — Бенуа сказал — вы приехали. Я не верил.

— Я здесь, милорд.

— Вы сделаете? — Пальцы на одеяле шевельнулись. — Запах. Чтобы я мог… Я сорок лет придумывал слова. Я дракон, мастерица. Мы не умеем слов. Мы умеем носом. Я хотел, чтобы она вошла — и поняла. Без слов. Я не знаю, как это сделать.

— Я тоже не знаю, — сказала я честно. — Пока.

Он посмотрел на меня. Тусклые глаза задержались на моём лице, потом опустились к запястьям, где лежала «Тишина», и снова поднялись.

— Вы ничем не пахнете, — сказал он.

— Да.

— Это хорошо. — Он закрыл глаза. — Значит, вы не станете вливать в этот запах себя. Только нас.

Я вышла из комнаты и долго стояла на лестнице, держась за перила.

* * *

Обычно я спрашиваю, где человек был счастлив и чем там пахло. Так было бы проще всего.

Но лорд Монсо не мог говорить долго. Бенуа сказал, что после каждого разговора он спит по полдня. А до новой луны оставалось девять дней.

Значит, спрашивать придётся не его.

Я пошла спрашивать дом.

Дом помнит. Это бабушка говорила, когда учила меня разбирать старые лавки, которые продавали ей за долги: «Люди врут, вещи — нет. Понюхай шкаф, и узнаешь, кто в нём жил». Я ходила по вилле Монсо два дня с фонарём и пробными ленточками и нюхала шкафы.

В левом крыле все комнаты были заперты. Бенуа отпер их мне связкой, на которой половина ключей заржавела. Там сорок лет никто не жил.

Спальня с низкой кроватью и выцветшим пологом. Пыль, сухая гниль старых досок. И под ними, глубоко, в самом дереве кровати, — розовое масло. Дешёвое, рыночное, каким пользуются молодые жёны из небогатых домов, пока не научатся выбирать дороже.

Бельевой сундук в гардеробной. Простыни, сложенные стопкой, жёлтые от времени, с вышитой монограммой «М. М.». Я развернула верхнюю и поднесла к лицу. Крахмал. Старый, въевшийся, такой, каким крахмалили бельё полвека назад — с рисовой водой. И под ним — что-то тёплое, живое. Руки. Не прачки, а хозяйки, которая крахмалила сама.

Как Кора.

Я записала: «крахмал, рисовая вода, руки».

На второй день я поднялась на плоскую крышу над кухней. Бенуа удивился — туда никто не ходил с тех пор, как перестали сушить фрукты. Крыша была выложена плоской черепицей, тёплой даже зимой, и между черепицами, в щелях, застряли маленькие тёмные комочки. Я выковыряла один ножом. Сушёная фига. Сорокалетняя, каменная, почти чёрная.

Я растёрла её между пальцами, и она запахла.

Солнцем. Сладостью, густой, тёмной, медовой. Летом на юге, когда воздух над крышами дрожит и пчёлы садятся на фрукты, разложенные на черепице, и кто-то босиком ходит между ними и переворачивает каждую, чтобы сохла ровно.

— Леди Матильда, — сказал Бенуа за моей спиной. Голос у него сел. — Она сама их сушила. Каждое лето. Никому не давала. Говорила: «Фиги, как мужья, — пересушишь, станут каменными, недосушишь — сгниют».

Я записала: «фиги на крыше. Солнце. Босые ноги».

Последним был двор. Колодец, фиговое дерево, каменные плиты в трещинах. Я вылила на плиты ведро воды из колодца — Бенуа ахнул — и присела на корточки.

Мокрый камень. Известняк, который сорок лет никто не поливал. Он запах так, как пахнет только камень после первой воды, — пыльно, свежо, остро, с привкусом железа и чего-то зелёного, что спало в трещинах и проснулось.

— Она поливала двор по вечерам, — сказал Бенуа. — Летом. Чтобы не было пыли. А хозяин сидел вон там, на ступеньках, и смотрел, как она поливает. Каждый вечер. Я был мальчиком на кухне, я видел.

Я стояла посреди мокрого двора и слушала, как пахнет сорок лет назад.

* * *

Арман

Она работала, как я воевал.

За семь лет я ни разу не видел, как она работает. Гаспар докладывал: леди Валеро просила книг из библиотеки, леди Валеро просила свечей. Я кивал и не слушал.

Теперь я смотрел.

Она поднималась до рассвета, ходила с фонарём по пустым комнатам и записывала в тетрадь — быстро, мелко, не глядя на страницу. Потом садилась за кухонный стол, расставляла перед собой склянки из дорожного ящика — тридцать, сорок, — и начинала. Капля на бумажную ленточку. Взмах. Вдох. Ещё капля. Пометка. Ленточка в стакан. Новая. И так часами, не

вставая, не поднимая головы, с той же сосредоточенностью, с какой я когда-то читал карту перед атакой.

Я носил ей склянки.

Это было единственное, что я мог делать, и я делал. Она говорила: «Ладанник, третья полка снизу, тёмная пробка», — и я шёл к ящику и приносил. Ставил на край стола — в трёх шагах от неё — и отходил. Она брала, не глядя. Иногда говорила «спасибо». Иногда — «не та, эта бензой, я просила ладанник». Я шёл обратно.

На второй день я начал запоминать.

Ладанник — тёмный, тягучий, пахнет, как кожаное седло на солнце. Бензой — сладкий, ванильный, как пирог. Ирисовый корень — пудра, сухая, как старая бумага. Мастика — я узнал её сразу, это была смола нашей брачной курильницы, и я стоял над склянкой дольше, чем нужно.

— Ты что? — спросила Ирис, не поднимая головы.

— Мастика, — сказал я. — Наша. Ты её варила как невеста.

Она подняла голову. Посмотрела на меня через стол, через сорок склянок.

— Ты помнишь, чем пахла наша курильница?

— Нет, — сказал я честно. — Я не подходил к ней семь лет. Я сейчас узнал. По склянке.

Она долго смотрела на меня. Потом опустила глаза к ленточкам.

— Ладанник, — сказала она. — Третья полка.

Я принёс ладанник.

Вечером, когда она ушла спать, я сидел во дворе на ступеньках — тех самых, где сорок лет назад лорд Монсо смотрел, как жена поливает плиты. Камень был ещё влажный после её ведра. Зверь лежал во мне тихо, обиженно, как лежит пёс, которого не пускают в дом. Он не слышал её весь день. Ни разу. Он чуял склянки, ладанник, мастику, сушёные фиги — и пустоту в том месте, где сидела она.

А я — видел.

Как она прикусывает губу, когда нота не ложится. Как трёт переносицу, когда нос устаёт, и нюхает шерсть собственного рукава. Как улыбается — одними глазами, — когда что-то получается. Как сегодня днём, растерев между пальцами сушёную фигу, она вдруг замерла, и лицо у неё стало такое, словно она слышит музыку.

Мастер. Лучший нос своего поколения — так говорили про неё в Башне, мне докладывали. И семь лет я держал её в комнате, где ей нечего было делать.

Лорд Монсо сорок лет лежал над морем один.

Я сидел на его ступеньках и думал, что разница между нами — сорок лет. Только и всего.

* * *

Ирис

«Прощение» я сварила на четвёртый день.

Это был не самый сложный состав, который я делала. Но самый тихий. В нём не было ничего, что кричит. Мокрый известняк после первой воды — сверху, лёгкий, быстрый, улетающий за четверть часа, как улетает вечерняя прохлада, когда двор высыхает. В сердце — фиги, сушёные на солнце, тёмные, медовые, тёплые, и крахмал с рисовой водой, и под ним — руки. База — дешёвое розовое масло молодой жены, которое я нашла в дереве кровати, на ладаннике, чтобы держалось. И капля мастики. Брачной смолы. Чтобы было похоже на дом, а не на воспоминание о доме.

Я капнула на ленточку и дала понюхать Бенуа.

Он поднёс ленточку к лицу — и сел на табурет, закрыв лицо руками.

— Это двор, — сказал он сквозь пальцы. — Это лето. Мне двенадцать, и госпожа даёт мне фигу с крыши, и говорит: «Только не говори хозяину, что я тебя кормлю».

Матильда Монсо приехала в тот же вечер.

Бенуа послал за ней в первый же день — в рыбацкую деревню на другом конце залива, где она жила одна сорок лет. Я не знала, приедет ли она. Бенуа тоже не знал.

Она приехала в старой двуколке, которой правил соседский мальчишка. Маленькая, сухая, прямая, в чёрном шерстяном платье и в чёрном платке. Лицо — в морщинах, как печёное яблоко, глаза — серые, ясные, злые. Ей было за восемьдесят, но она спрыгнула с двуколки сама, не дожидаясь, пока ей подадут руку.

На левом запястье, поверх рукава, была повязана лента. Серая, выцветшая до цвета пыли, истончившаяся так, что сквозь неё просвечивала кожа.

Сорок лет. Год и день кончились тридцать девять лет назад. Она так и не сняла.

— Где он? — спросила Матильда Монсо у Бенуа, не глядя ни на меня, ни на генерала, ни на Лорана.

— Наверху, госпожа. Ждёт.

— Сорок лет ждёт, — сказала она. — Подождёт ещё. — И пошла к лестнице.

Я поднялась следом и остановилась в дверях. Флакон «Прощения» я открыла ещё днём и поставила на подоконник, у постели. Запах стоял в комнате тихо, ровно, как стоит вечерний свет: мокрый двор, фиги, крахмал, розовое масло.

Матильда вошла — и остановилась на пороге.

Я видела, как она вдохнула. Как изменилось лицо. Как злость в нём не исчезла, нет, — сдвинулась, уступила место чему-то другому, старому, давно забытому. Она стояла и дышала, и пальцы у неё на ленте дрожали.

Лорд Монсо открыл глаза. Повернул голову на подушке.

— Матильда, — сказал он.

Она не ответила.

— Фиги, — сказал он. Голос свистел и рвался. — Ты пересушила их тогда. В последнее лето. Всё лето сохли.

— Это ты пересушил, — сказала Матильда Монсо. — Ты их ворошил, когда я не видела. Думал, я не знаю.

Она подошла к кровати. Медленно. Села в кресло, которое поставил Бенуа. Посмотрела на мужа — долго, сухо, без слёз.

— Я не за прощением приехала, Аристид, — сказала она. — Я приехала посмотреть, как ты умираешь. Сорок лет хотела посмотреть.

Он смотрел на неё и молчал. Потом его рука поползла по одеялу — медленно, пятнистая, с серыми чешуйками на тыльной стороне, — к её руке. Остановилась на полпути. Он не дотянулся.

Матильда смотрела на эту руку.

— Я не прощаю, — сказала она. — Ни сейчас, ни потом. Ты меня выгнал при всех. Ты лил воду сам.

— Знаю.

— Но я посижу, — сказала Матильда Монсо и положила свою руку поверх его.

Я вышла и закрыла дверь.

* * *

Ночью он позвал меня.

Матильда спала в кресле у его постели, укрытая пледом, с лентой на запястье. Её рука всё ещё лежала на его руке. Лорд Монсо не спал. Он посмотрел на меня, когда я вошла, и показал глазами на стул.

— Спасибо, — прошептал он. — Она осталась.

— Она осталась сама, милорд.

— Сама. — Он помолчал, собираясь с силами. — Я хочу вам сказать. Вы должны знать. Генерал рассказал Бенуа… про Ночь Смол. Про поддельную истинную. Про зелень.

Я ждала.

— Моя истинная, — сказал лорд Монсо, — пахла лилией. И горькой зеленью. Как сорванный лист. Она не уходила, эта зелень. Даже к утру. Я просыпался в темноте — и слышал её на подушке, хотя она спала в другой комнате. Я думал, так пахнет судьба. — Он закрыл глаза. — Через год она пропала. Уехала на воды и не вернулась. Мне сказали — умерла. А зверь уснул. Уснул и больше не просыпался. Сорок лет.

Я сидела и не могла вдохнуть.

Лилия и горькая зелень, которая не уходит до утра. Сорок лет назад.

— Кто привёз её к вам, милорд? — спросила я. — Ту девушку. Откуда она взялась?

— Гильдия, — сказал он, не открывая глаз. — Гильдия знакомила. Старый мастер Башни, первый нос тогдашний. Я не помню имени. Он был добр ко мне. Сказал: «Ваш зверь томится, милорд. Мы поможем». — Губы у него дрогнули. — Помогли.

Он заснул почти сразу, как договорил.

Я вышла во двор. Плиты ещё не высохли после моего ведра. Над морем стояла луна — ущербная, наполовину стёртая. Семь дней до новой.

Арман сидел на ступеньках. Он поднялся, когда я вышла, и отступил на ступеньку ниже.

— Ирис?

Я не ответила. Я считала.

Тёте пятьдесят шесть. Сорок лет назад ей было шестнадцать. Шестнадцатилетняя девочка в школе носов, в спальне под крышей Янтарной башни, на двенадцать кроватей, — такая, какой была я в девятнадцать.

Она не могла сварить поводок для лорда Монсо. Она тогда ещё училась различать ладанник и бензой.

— Арман, — сказала я. — Сорок лет назад тёте было шестнадцать.

Он смотрел на меня и не понимал.

— Значит, поводок придумала не она, — сказала я.

Глава 4. Гранатовый дракон

Ларго пах смолой.

Не той, что жгут в курильницах, — корабельной. Чёрной, горячей, вонючей смолой верфей, которой конопатят днища. Её варили в котлах прямо на берегу, под открытым небом, и дым от котлов стоял над городом низким серым пологом. Под ним пахло мокрыми канатами, стружкой, железом, рыбой, солью и ветром — ветром прежде всего, потому что Ларго стоял на мысу, открытом всем ветрам Срединного моря, и ветер здесь не утихал никогда.

Цитадель Западного флота стояла на самой оконечности мыса. Серый камень, три кольца стен, башни, похожие на кулаки. Под стенами, в гавани, теснились корабли — сотни мачт, густых, как лес после пожара.

Мы въехали в город на шестой день после Тальмы. Я сидела в седле уже почти прилично. Лоран сказал, что ещё неделя — и меня можно будет брать в кавалерию. Я сказала, что лучше на соляные промыслы.

— Там лошадей нет, — согласился Лоран. — Там только соль.

Арман ехал впереди, в мундире, с охряной нитью на рукавах. Люди на улицах оборачивались ему вслед. Он не оборачивался ни на кого. Только у ворот цитадели обернулся ко мне и сказал:

— Ты уверена?

— Нет, — сказала я. — Поехали.

* * *

Приём у лорда-адмирала был в тот же вечер.

Генерал Южной армии приехал в Ларго с визитом к командующему Западным флотом — так это называлось, и так это записали в книгу цитадели. Со свитой: капитан Фавье, мальчик-оруженосец, старый пёс и женщина в простом сером платье, которую в книге записали «переписчицей генерала». Это была я.

Никто не посмотрел на меня дважды.

Я стояла у стены парадного зала, между гобеленом с морским сражением и бронзовым светильником, и меня не было. Женщина в сером, без украшений, с гладко убранными волосами, которая ничем не пахнет, — её не видят. Глаза скользят мимо, как скользят мимо стены. Семь лет я так жила в доме Валеро. Я умела.

Только теперь я делала это нарочно.

Зал был полон офицеров флота — в синем, с золотом, пахнущих корабельной смолой, мокрой шерстью мундиров и вином. Их жёны — в шелку, с веерами, с духами, которые я могла бы разобрать по нотам, если бы хотела. Я не хотела. Я слушала другое.

Посреди зала, в кресле с высокой спинкой, сидел лорд-адмирал Гвидо Монтеро.

Большой, тяжёлый, с чёрной бородой, в которой пробивалась седина. На тыльной стороне ладоней — тёмно-красные чешуйки, цвета перезрелого граната. Гранатовый дракон. Он сидел прямо и улыбался гостям, и улыбка у него была такая, какой улыбаются люди, у которых болит зуб.

От него пахло домом Монтеро — тёмной смолой и гранатовой коркой, тем же дымом, что въелся в платье Сабины. По́том. Вином — не тем, что пьют за ужином, а тем, что пьют ночами, когда не спится. И горькой зеленью.

Сорванный лист.

Он стоял над лордом-адмиралом, как стоит над болотом туман, — густо, ровно, неподвижно. Я слышала его даже через весь зал, через двести человек, через смолу, вино и шёлк. Невозможная нота. Верхняя нота, которая должна улететь за четверть часа, — а она сидела на нём, как будто её прибили гвоздями.

А рядом с его креслом стояла девушка.

Восемнадцать лет, сказала Сабина. Маленькая, темноволосая, в светло-зелёном платье с высоким воротом. Тонкие руки, сжатые перед собой. Большие тёмные глаза, которые смотрели в пол. На шее, над воротом, — метка: завиток тёмно-красного цвета, ровный, яркий, как нарисованный.

Флора. Так её звали. «Истинная» лорда-адмирала, приехавшая в Ларго на корабле Гильдии в начале осени.

Я вдохнула её запах — осторожно, издалека, как вдыхают незнакомый пар над котлом.

Белый жасмин. Сладкий, тяжёлый, ночной. Сорванный лист поверх. И под ними, в самой глубине — тёплое, живое на вид, но мёртвое внутри: хлеб, соль, гроза, пудра. Нарисованный хлеб. Тот же, что был у Лилиан. И ещё глубже, на самом дне, — дым. Тёмная смола и гранатовая корка.

Его чешуя. На ней.

Тот же поводок. Та же рука. Другая девочка.

Я смотрела на Флору, и мне было трудно дышать. Она стояла у кресла, как стояла когда-то Лилиан у колонны в Зале курильниц, — бледная, неподвижная, с глазами в пол. Она тоже не знала, что на ней надето. Ей тоже сказали: «Так надо».

* * *

Сыновей Сабины я нашла на галерее.

Двое мальчишек в синих курточках сидели на ступеньке лестницы, ведущей на хоры, — подальше от взрослых, поближе к сладкому столу. Старшему — одиннадцать, худой, темноволосый, с материнским прямым носом. Младшему — лет семь. Младший сидел, прислонившись головой к перилам, и тёр висок.

Я спустилась к ним, будто искала что-то на лестнице.

— У тебя болит голова? — спросила я младшего.

Он посмотрел на меня снизу вверх. Глаза у него были Сабинины — серые, светлые.

— Всё время, — сказал он. — Когда она рядом. Мама говорила, это от моря. А мамы нет.

Старший толкнул его локтем. Посмотрел на меня настороженно.

— Вы кто?

— Переписчица генерала Валеро. — Я присела на ступеньку рядом с ними. Достала из рукава сложенный листок. — И я из Тальмы. Я знаю вашу маму. Она живёт у меня. Она варит мыло.

Старший смотрел на листок, не шевелясь.

— Мама варит мыло? — спросил младший.

— Плохо, — сказала я. — Очень старается.

Старший взял листок. Развернул. Прочитал. Губы у него задрожали — один раз, — и он сжал их, и сложил листок вчетверо, и спрятал за пазуху, под курточку.

— Спасибо, — сказал он. Очень вежливо, очень по-взрослому.

— Голова у брата пройдёт, — сказала я. — Скоро. Обещаю.

Я не знала, могу ли я это обещать. Но я обещала.

* * *

Флора нашла меня сама.

Я стояла у окна в конце галереи, где было тише и прохладнее, и смотрела на гавань, на сотни огней на мачтах. Она подошла неслышно, в своём светло-зелёном платье, и встала рядом. Не глядя на меня. Глядя в окно.

— Вы ничем не пахнете, — сказала она шёпотом.

Я не ответила.

— Я тоже раньше ничем не пахла, — сказала Флора. — Почти ничем. Мылом. Маминными пирогами. Я из Сеттары, у нас апельсины. — Она помолчала. — А потом меня взяли на

остров. Там учили стоять. Глаза в пол, руки перед собой. Учили улыбаться, когда он смотрит. И каждое утро — флакон. Я спросила однажды, что в нём. Мне сказали: твоя судьба, девочка.

От неё пахло жасмином, сорванным листом, нарисованным хлебом и его дымом. И ещё, совсем тонко, под всем этим, — апельсиновой коркой. Своё. Последнее своё, что у неё осталось.

— Ты хочешь домой? — спросила я.

Флора посмотрела на меня в первый раз. Глаза у неё были тёмные, мокрые, испуганные.

— Мне нельзя хотеть, — сказала она. — Мне сказали: если я уеду, ему будет плохо. Его зверь умрёт без меня. — Губы у неё дрогнули. — А он и так… Вы видели, какой он? Он не спит. Он рычит. Он не такой, каким был, когда я приехала. Это из-за меня?

— Нет, — сказала я. — Не из-за тебя.

— А из-за чего?

Внизу, в зале, засмеялся кто-то из капитанов. Зазвенели бокалы.

— Я пока не могу сказать, — сказала я. — Но не из-за тебя. Запомни это.

Флора кивнула. Посмотрела на меня ещё раз — долго, как смотрят на последний огонь на берегу, — и ушла обратно в зал, к креслу лорда-адмирала, в своё светло-зелёное платье и в свой поводок.

* * *

План был простой и безумный. Арман придумал его в седле, в первый же день после виллы Монсо, и мы спорили о нём до самого Ларго.

Чтобы снять поводок, мне нужна была чешуя дракона, на котором он надет. Свежая, живая, его собственная. Не из нити на мундире — нить сплетена из старой, сброшенной, и голос у неё тихий. Нужна чешуя, слетевшая с живого зверя. А лорд-адмирал Монтеро не отдаст мне свою чешую. Он вообще не станет меня слушать. Зверь на поводке не слушает.

— Драконы теряют чешую в драке, — сказал Арман тогда. — Я его разозлю. Он обернётся. Мы схватимся над гаванью — недолго, для вида. С него полетит чешуя. Ты соберёшь.

— Это безумие.

— Это война. Я умею только её.

— Ты можешь его убить. Он может убить тебя.

— Не убьёт. Я его знаю двадцать лет. Он медленный в развороте.

Я не согласилась. Я не согласилась ни в тот день, ни на другой, ни у ворот цитадели. Но лучшего плана у меня не было. И Флора стояла у кресла лорда-адмирала с глазами в пол.

Арман подошёл к креслу Монтеро в разгар вечера, когда подали вино.

Я видела всё со своего места у стены. Как он остановился перед адмиралом — прямой, высокий, в охряной нити. Как поклонился — коротко, по-военному. Как Монтеро поднял на него глаза, мутные, налитые кровью.

— Валеро. Слышал, у тебя тоже была истинная. До Ночи Смол.

— Была, — сказал Арман.

— И что, не пахла? — Монтеро усмехнулся. Флора рядом с ним вздрогнула. — Говорят, твоя бывшая тебя опоила. Говорят, теперь ты на её поводке. Смешно. Генерал Южной армии — на поводке у лавочницы.

Зал затих. Двести человек повернулись к креслу.

Арман смотрел на адмирала спокойно, почти ласково.

— От тебя пахнет чужой рукой, Гвидо, — сказал он. Негромко. Так, что слышал весь зал. — Чужой рукой на твоём горле. Ты не спишь. Ты рычишь на капитанов. Твой младший сын тает от головной боли. А ты сидишь тут и улыбаешься девочке, которую тебе привезли на корабле, как бочку вина.

Монтеро встал.

Кресло опрокинулось за его спиной. На руках, на шее, на лице выступила гранатовая чешуя — сразу, волной, как выступает пот. Глаза стали жёлтыми, с вертикальным зрачком.

— Выйдем, — сказал он хрипло. — Валеро. Выйдем.

— Выйдем, — сказал Арман.

* * *

Арман

Он был медленный в развороте. Я помнил это правильно. Мальчишкой, двадцать лет назад, на учениях над заливом Ларго, мы с Гвидо гоняли друг друга до темноты, и я каждый раз заходил ему в хвост на втором круге, потому что гранатовые тяжелее охряных и разворачиваются шире.

Сегодня он не разворачивался.

Он шёл напролом. Прямо, в лоб, с рёвом, от которого внизу, в гавани, лопались стёкла, — не так, как ходит дракон, который хочет победить, а так, как ходит зверь, которому больно и который хочет, чтобы больно стало кому-то ещё. Поводок рвал его изнутри. Я слышал это. Он пах чужой рукой так густо, что меня мутило даже в небе.

Я ушёл вверх. Он — за мной. Я дал ему пройти подо мной и ударил хвостом по спине, вскользь, — с него посыпалась чешуя, тёмно-красная, сверкающая, полетела вниз, на причалы. Хорошо. Ещё раз — и хватит.

Он развернулся.

Не широко, как раньше. Резко, круто, с хрустом в крыльях, с таким рывком, какого не бывает у гранатовых. Поводок гнал его. Он ударил меня в бок — когтями, всей тяжестью, — и я почувствовал, как рвётся чешуя на рёбрах, как под ней становится горячо и мокро.

Я не ответил огнём. Я мог. Я держал огонь в горле и не выпускал, потому что внизу была гавань, сотни кораблей, смола на палубах, люди.

Гвидо выпустил свой.

Он не целился в меня. Он вообще никуда не целился. Огонь хлынул из его пасти широкой красной струёй — вниз, через гавань, по причалам, по мачтам. Канаты вспыхнули сразу, как фитили. Затрещали паруса на ближнем корабле. В гавани закричали — тонко, многоголосо, — и над водой поплыл чёрный дым горящей смолы.

Я развернулся к нему — и увидел, куда он смотрит.

На причал. На длинный каменный мол у подножия цитадели, где внизу, в дыму, среди горящих канатов, стояли люди. Девушка в светло-зелёном — Флора, выбежавшая из цитадели следом за ним, — стояла на самом краю мола и тянула к нему руки. Его истинная. Его поводок. Нарисованный хлеб, на который его зверь шёл, как идёт пёс на свисток.

А в трёх шагах от неё, на коленях, собирая с камней тёмно-красную чешую в подол серого платья, — Ирис.

Гранатовый дракон сложил крылья.

И пошёл вниз — камнем, отвесно, с рёвом, прямо на мол, где стояли они обе.

Глава 5. Отвязка

Я не помню, как схватила Флору. Помню, что она стояла на самом краю мола и тянула руки вверх, а я уже держала её за пояс светло-зелёного платья и тянула вниз, на камни, и она отбивалась, и кричала его имя.

Тень накрыла нас целиком.

Я подняла голову. Гранатовый дракон падал на нас сверху, сложив крылья, с открытой пастью, в которой клокотал красный огонь, и я видела каждый зуб. От него пахло гранатовой коркой, горелой смолой и сорванным листом — таким густым, что меня затошнило.

Я легла на Флору сверху и закрыла глаза.

Удар пришёлся не в нас.

Что-то огромное, охряное, горячее врезалось в гранатового сбоку — в двадцати локтях над молом, — с таким звуком, с каким сталкиваются корабли в шторм. Меня обдало ветром и жаром. Над головой полыхнуло: красный огонь, выпущенный не туда, плеснул вбок и лёг на что-то охряное — на крыло, на бок, — и раздался рёв, от которого у меня заложило уши.

Потом — всплеск. Огромный, тяжёлый, как будто в гавань рухнула крепостная башня. Волна перехлестнула через мол и окатила нас с Флорой ледяной водой с головы до ног.

Я открыла глаза.

В воде у мола, в облаке пара, поднимавшегося от горячей чешуи, барахтались два дракона. Потом — не драконы. Два человека. Один — большой, чернобородый, без чувств, лицом вниз. Второй держал его за ворот и грёб к ступеням мола одной рукой.

Второй рукой он не грёб. Бок у него был чёрный.

* * *

Лоран вытащил их обоих на ступени вместе с портовыми матросами. Монтеро уложили на камни. Он дышал — тяжело, с хрипом, — но не открывал глаз. Арман сел на нижнюю ступеньку сам, по пояс в воде, и долго не мог встать.

Я спустилась к нему. До третьей ступеньки над ним. Дальше — нет.

Мундир на левом боку прогорел насквозь. Под ним была рана от когтей — три глубоких борозды поперёк рёбер, — и поверх неё ожог. Красный, мокрый, страшный, от подмышки до бедра. От него пахло горелым мясом, морской водой и железом.

— Это ничего, — сказал Арман, глядя на меня снизу вверх. Губы у него были серые. — Драконий огонь драконам не так страшен. Заживёт.

— Ты врёшь.

— Немного, — согласился он. И закрыл глаза.

Гавань потом тушили до рассвета. Сгорели два баркаса у старого мола, причал и паруса на двух купцах; люди успели прыгнуть в воду. Под утро Лоран обошёл все пристани и вернулся с одним словом: «Никто». Арман выслушал его молча и сказал: «Счёт Адмиралтейства — дому Валеро. Это я поднял его над гаванью».

Флотский лекарь — старый, лысый, с руками мясника и голосом няньки — в караульне у мола смазал ожог мазью, пахнущей овечьим жиром и подорожником, и замотал полотном так туго, что генерал Южной армии стал похож на тюк с парусиной.

Я стояла у двери. В трёх шагах.

В моём ящике не было ничего для раны. Я смешала то, что могла: лаванду, ромашку, каплю бензоя, — капнула на чистую тряпицу и отдала лекарю.

— Положите ему у изголовья, — сказала я. — Это не от раны. Это чтобы он спал, пока заживает.

Арман на лавке открыл глаза и молча смотрел на меня, пока лекарь не положил тряпицу ему у головы, — и тогда закрыл их снова.

* * *

Гранатовая чешуя лежала у меня в подоле.

Двенадцать чешуек, тёмно-красных, ещё тёплых, с острыми краями. Я собрала их на молу, на коленях, среди горящих канатов. Подол был мокрый и в саже. Чешуя — целая.

Я разложила её на столе в караульне, когда Армана унесли наверх, в цитадель. Лоран принёс мне свечи и кувшин воды и сел у двери, как часовой. Нико спал на лавке, обняв Фитиля. Флору увели служанки — белую, мокрую, оглядывающуюся на меня.

Ночь ремесла.

Проявитель в Ночь Смол разбил поводок Армана, потому что ставил рядом с нарисованным хлебом живой — мой. Но он жил только на моей коже, без «Тишины», а снимать её я не собиралась. Значит, нужно было что-то, что скажет зверю правду и без меня.

Я взяла одну чешуйку и подержала над пламенем свечи. Она не горела — от такого огня драконья чешуя не горит, — но нагрелась и запахла. Тёмная смола. Гранатовая корка. Солёный ветер. Его голос. Чистый, без сорванного листа, без жасмина, без нарисованного хлеба. Без подражания.

Вот. Первое. Зверь должен услышать себя — одного, без примеси. Свою чешую, свободную от чужого.

А второе?

Я сидела над чешуёй до полуночи. Лоран у двери чистил апельсин и молчал.

Апельсин.

Я вспомнила Флору у окна галереи. Её запах: жасмин, сорванный лист, нарисованный хлеб, его дым — и под всем этим, совсем тонко, на самом дне, апельсиновая корка. Своё. Последнее своё, что у неё осталось. Девочка из Сеттары, где растут апельсины.

Зверь Монтеро не знал, кто такая Флора. Он знал «истинную» — то, что было нарисовано на ней. Он никогда не слышал, чем пахнет сама Флора. Никто не дал ему услышать.

Правдивая нота.

Если поставить рядом с его чешуёй — чистой, без подражания, — правду о девушке, на которой надет ошейник, — зверь услышит: это не она. Это не моя. Это чужая девочка в чужом платье, от которой пахнет апельсинами и маминым пирогами. А то, что я принимал за неё, — нарисовано на стене.

— Лоран, — сказала я. — Мне нужен апельсин. Из Сеттары. И мне нужно поговорить с Флорой. Сейчас.

Лоран посмотрел на свой апельсин. Потом на меня.

— Этот — из Сеттары, — сказал он. — Других не держу.

* * *

Флора сидела на кровати в своей комнате в цитадели, завернувшись в одеяло. Служанки ушли. На столике у кровати стоял флакон — тёмный, гильдейский, без узора. Она смотрела на него и не трогала.

— Мне страшно без него, — сказала она, когда я вошла. — Сегодня не успела утром. И весь день — как будто с меня кожу сняли. Как будто все видят, что я никто.

— Ты не никто.

— А кто? — Она подняла на меня мокрые глаза. — Мне сказали — я его судьба. А его судьба сегодня чуть не убила нас обеих.

Я села на край кровати.

— Расскажи мне про Сеттару, — сказала я. — Про свой дом. Чем там пахнет.

Она рассказывала долго. Про апельсиновый сад за домом, где цветы в начале лета пахнут так, что болит голова. Про маму, которая пекла пироги с апельсиновой коркой и мёдом. Про деревянную лестницу, натёртую воском, по которой Флора бегала босиком. Про отца — бондаря, — от которого пахло дубовой стружкой и уксусом. Про то, как в пятнадцать лет к

ним пришли люди из Гильдии и сказали маме, что у девочки редкий нос и её возьмут учиться. Бесплатно. С жалованьем семье.

Её не учили ни одному запаху. Её учили стоять.

Я записывала. Апельсиновая корка с мёдом. Воск на ступенях. Дубовая стружка. Летний цвет — совсем чуть-чуть.

— Вот, — сказала я, когда она замолчала. Достала из кармана маленькую склянку, в которую уже налила основу — ладанник и бензой, тёплые, тихие. Капнула настоя корки Лоранова апельсина, растёртой с мёдом, каплю воска, каплю дубовой стружки, настоянной в спирте. Закрыла. Встряхнула. Отдала ей. — Это не флакон с острова. Это начало. Твой запах. Пока только начало, я доделаю. Когда станет страшно — открой и понюхай.

Флора открыла. Поднесла к лицу. Вдохнула.

И заплакала — не так, как весь вечер, испуганно и тонко, а по-другому.

— Это кухня, — сказала она сквозь слёзы. — Это наша кухня.

* * *

Арман

Совет флота собрался утром в большом зале цитадели — двадцать капитанов, адмиралтейский смотритель, писарь. Гвидо сидел во главе стола, серый, с перевязанной головой. Он очнулся к рассвету и спросил, кто сжёг гавань. Ему сказали. Он молчал после этого час.

Флора стояла у его кресла. Без флакона. Бледная, прямая. В руке она сжимала маленькую склянку, и пальцы у неё побелели.

Я стоял за креслом Гвидо. Лекарь замотал меня так, что я поворачивался целиком, как шкаф. Капитаны смотрели на мою перевязку, как смотрят на начальство, упавшее в лужу.

Ирис поставила жаровню на стол перед Гвидо.

Маленькую, медную, флотскую, на трёх ножках. На угли положила то, что сварила ночью: гранатовая чешуя, растёртая в пыль на смоле, — его собственный голос, без чужой примеси. И рядом, в отдельной ложке, — то, что пахло апельсиновой коркой с мёдом, воском и дубовой стружкой.

— Мне нужно, чтобы он сидел, — сказала она мне. Через стол. — Когда дым пойдёт, зверь захочет встать. Не давай.

— Не дам.

Я положил руки Гвидо на плечи. Сзади. Тяжело. Так, как держат друга, которого сейчас будут резать.

— Валеро, — прохрипел он. — Если ты… если эта твоя лавочница…

— Сиди, Гвидо, — сказал я. — На расстоянии вдоха. Просто дыши.

Ирис подожгла угли.

Сначала поднялся его дым — тёмная смола, гранатовая корка. Чистый. Гвидо вздрогнул под моими руками. Его зверь услышал себя — один, без жасмина, без сорванного листа, без нарисованного хлеба, — и я почувствовал, как напряглись плечи, как пошла под ладонями чешуя.

— Держи, — сказала Ирис.

Я держал.

И тогда стало хуже.

Зверь Гвидо услышал себя — и услышал себя же рядом. Во Флоре. В её коже, в её шее, в её завитке под ухом, где поводок держал его собственную чешую. Он не понял, что это ложь. Он понял одно: вот он, а вот она, и она пахнет им, и между ними — жаровня. Гвидо рванулся из-под моих рук так, что треснула спинка кресла. По лицу у него пошла чешуя — гранатовая, сплошная, до самых глаз, — и из горла вырвался не голос, а рёв:

— Флора!

Капитаны вскочили. Кто-то схватился за клинок. Флора отшатнулась к стене и закрыла лицо руками.

Я навалился на Гвидо всем весом, с распоротыми рёбрами, и почувствовал, как под повязкой у меня снова пошла кровь. Он был сильнее меня. Сейчас — сильнее. Ещё миг — и он встанет, обернётся прямо здесь, в зале, среди двадцати капитанов, и тогда…

— Ирис!

— Знаю! — Она не смотрела на меня. Она смотрела на дым. — Одна чешуя его только злит. Он слышит себя — в ней. Ему нужно услышать, что она — не он.

Её руки не дрожали. Я видел это через весь стол.

Потом она положила на угли вторую ложку.

Апельсиновая корка с мёдом. Воск. Дубовая стружка. Тёплое, кухонное, простое, детское. Запах девочки из Сеттары, которую увезли из дома в пятнадцать лет, чтобы научить стоять.

Дым поднялся над жаровней, лёг на Гвидо, на Флору у его кресла — и я услышал, как лопнуло.

Не громко. Не так, как лопнуло во мне в Зале курильниц, — нитка за ниткой, с мясом. Тише. Как лопается старая верёвка, которую слишком долго держали натянутой. Гвидо дёрнулся у меня под руками — один раз, всем телом, — и обмяк.

Сорванный лист ушёл.

Сразу, весь, как уходит дым из открытого окна. Через миг в зале пахло только жаровней, апельсинами, мокрой шерстью мундиров — и тем, что осталось от Гвидо, когда с него сняли чужую руку. По́том. Солью. Старым вином. Стыдом.

Гвидо поднял голову. Посмотрел на Флору — долго, как будто видел её в первый раз.

— Девочка, — сказал он хрипло. — Ты же совсем девочка.

Флора заплакала.

Гвидо поднялся. Я отпустил его плечи. Он стоял посреди зала, огромный, серый, в холодном поту, и смотрел на своих капитанов, на сожжённую гавань за окном, на свои руки.

— Я сжёг собственную гавань, — сказал он. — Я выгнал жену. Мой младший… — Он замолчал. Лицо у него перекосилось. — Где Сабина?

— В Тальме, — сказала Ирис. — Варит мыло.

Гвидо уставился на неё.

— Сабина? Мыло?

— Плохо, — сказала Ирис. — Очень старается.

Гвидо Монтеро, лорд-адмирал Западного флота, гранатовый дракон, засмеялся — страшно, хрипло, со слезами, — и сел обратно в кресло, закрыв лицо руками.

Потом он встал ещё раз и сказал то, ради чего мы приехали, — при писаре, который записывал каждое слово:

— Я, Гвидо Монтеро, лорд-адмирал, свидетельствую: на мне был поводок. Сделанный руками Гильдии. На моей собственной чешуе. Сегодня его сняли. Мастерица Мерель — не ведьма. Ведьма — тот, кто варил это для меня. Клянусь Семью ветрами и своим огнём, я скажу это в Альбере перед советом лордов и перед императором. И Западный флот это слышал.

Двадцать капитанов встали.

* * *

Вечером Ирис пришла в караульню, где лекарь менял мне повязку. Остановилась в дверях.

— Ты идиот, — сказала она.

— Знаю.

— Ты обещал «недолго, для вида». Ты обещал, что он медленный в развороте.

— Он был медленный. Двадцать лет назад.

— Ты мог сгореть. — Голос у неё дрогнул, и она разозлилась на это ещё сильнее. — Ты влетел в него, как… как бревно. Без огня. Ты не ответил ему ни разу. Почему ты не ответил?

— Внизу были корабли. И люди. — Я помолчал. — И ты.

Она смотрела на меня. Губы сжаты. На щеках — красные пятна. Злая. Живая.

Лекарь сзади меня тихо крякнул, затянул последний узел и вышел, не сказав ни слова.

— Не смей больше так, — сказала Ирис.

— Не буду.

— Ты врёшь.

— Немного.

Она развернулась и ушла. Я слышал её шаги по каменной лестнице — быстрые, злые.

Я сидел на лавке, замотанный, как тюк, и улыбался в темноте, как дурак. Семь лет она молчала. Семь лет — ни слова упрёка, ни взгляда, ни «ты идиот». Пустая комната. Тишина за стеной.

А теперь она злилась на меня. Кричала на меня. Боялась за меня.

Мне было больно дышать. Я был счастлив.

* * *

Ирис

Голубь прилетел на рассвете.

Лоран принёс его мне в комнату — серый, взъерошенный, с красной лентой на лапе, с крошечной трубочкой письма. Он не сразу отдал мне письмо. Он стоял на пороге и держал голубя в ладонях, и лицо у него было такое, какое я видела у него только однажды — у соляного склада, когда он рубил «дыру».

— Генералу, — сказал он. — Из Альберы. Но, наверное, вам тоже надо.

Я развернула трубочку.

Почерк был мелкий, торопливый — Матео, новый кастелян дома Валеро, писал наспех, на коленке.

«Милорд. Вчера его величество подписал указ. Мастерица Ирис Мерель объявлена ведьмой, изготовительницей запретных составов, опоившей лорда-генерала. Указ читают во всех портах. Вам приказано вернуться в Альберу. Командование Южной армией — до разбирательства — приостановлено. Гарнизону Тальмы приказано взять её под стражу. Простите. М.»

Я сложила записку.

За окном над сожжённой гаванью Ларго вставало солнце, и дым от вчерашнего пожара ещё стоял над мачтами.

Ведьма. Указом императора.

Второго раза нет.

Глава 6. Ведьма

Гвидо Монтеро отдал нам свой самый быстрый корабль.

Это был двухмачтовый «Буревестник», узкий, низкий, с косыми парусами, которые ловили любой ветер, — посыльное судно Западного флота, на котором адмиралу привозили депеши. Гвидо стоял на молу, когда мы поднимались на борт, — серый, с перевязанной головой, — и держал за плечи младшего сына. Мальчик больше не тёр висок.

— Я буду в Альбере через неделю, — сказал Гвидо Арману. — С капитанами. С писарем и с тем, что он записал. Пусть попробуют сказать при Западном флоте, что твоя мастерица — ведьма.

— Спасибо, Гвидо.

— Не мне спасибо. — Он посмотрел на меня через Армана, через три шага, которые Арман не нарушил даже на молу. — Скажите Сабине… — Он запнулся. Большой, черноборо-дый, страшный, он стоял и не мог договорить. — Скажите, что я не знаю, что ей сказать.

— Скажу, — пообещала я.

Флору он отправил домой, в Сеттару, в тот же день — с охраной, с деньгами, с письмом к её родителям, в котором, как сказал мне писарь, было написано «простите». Флора уезжала с маленькой склянкой «Запаха себя» в кулаке. Я доделала его ночью: апельсиновая корка с мёдом, воск на ступенях, дубовая стружка, летний цвет и под ним — капля тёплого ладанника, чтобы держалось. Она обняла меня у трапа, быстро и крепко, и ничего не сказала.

Гильдейский флакон, который стоял у её кровати, я увезла с собой. Завёрнутым в три слоя вощёной бумаги, на дне ящика. Это была улика.

«Буревестник» шёл до Тальмы два дня. Я провела их на палубе, глядя на берег, и думала о том, что прочитала в записке Матео.

Ведьма. Указом императора.

* * *

Глашатай ждал нас на площади у ратуши.

Не гильдейский — императорский. В тёмно-красном, с гербом дома Альбери на груди, с серебряным жезлом. Рядом с ним — двое гвардейцев в белом и полковник Сантори, комендант форта, сухой, жилистый, седой, в мундире Южной армии, с лицом человека, которого заставили есть то, чего он не ест.

За ними, на площади, — гарнизон. Не весь. Две роты, построенные в каре, с алебардами. И за солдатами — город. Опять. Весь город, кажется, только и делал этой зимой, что выходил на площадь.

Мы шли от гавани пешком. Арман впереди, в мундире. Лоран рядом с ним. Я — позади, в простом сером платье, с ящиком в руках. Нико с Фитилём. Город расступался перед нами и смыкался за спиной.

Глашатай развернул свиток.

— Указ его императорского величества! — Голос у него был зычный, выученный. — Мастерица Ирис Мерель, уроженка Тальмы, объявляется ведьмой, изготовительницей запрет-ных составов, опоившей лорда-генерала Валеро. Лорд-генерал Валеро, до разбирательства отстранённый от командования Южной армией, обязан лично препроводить ведьму в Альберу и сдать её Совету Янтарной башни. Если лорд-генерал откажется — гарнизону Тальмы взять ведьму под стражу и препроводить самим. Именем его величества!

Площадь молчала.

Я смотрела на Армана. На его спину, на прямые плечи, на охряную нить на рукавах. Он стоял неподвижно и смотрел на глашатая.

Император не просто отнял у него армию. Император предложил ему выбор: отвезти меня в Башню своими руками — и, может быть, вернуть армию, когда всё уляжется. Или отказаться — и смотреть, как меня поведут его собственные солдаты.

«Прощаю. Один раз».

Второго раза не было.

Арман повернулся к строю.

Он смотрел на солдат. Долго, медленно, переводя взгляд с лица на лицо, — так, как, наверное, смотрел на них перед Сорро. Я видела лица со своего места. Молодые и старые. Обветренные. Со шрамами. Многие из них приходили в лавку за «Сном». Некоторые стояли на лесах, когда строили мой орган.

Потом он поднял руки и снял с шеи цепь командующего.

Тяжёлую, золотую, с охряной бляхой — драконом над холмом, гербом Южной армии. Цепь звякнула, когда он снял её через голову. Он подошёл к Сантори и протянул ему.

— Полковник Сантори, — сказал он. — Принимайте армию.

Сантори не шевельнулся. Он смотрел на цепь в руке генерала так, как смотрят на змею.

— Милорд…

— Принимайте, Марко. До разбирательства. Это приказ. Последний.

Сантори взял цепь. Руки у него дрожали.

Арман повернулся к глашатаю. Голос у него был негромкий. Его услышала вся площадь.

— Передайте его величеству, — сказал он, — что генерал Валеро не арестует женщину, которая сказала правду. Ни сегодня, ни потом. Пусть его величество ищет для этого других генералов.

Глашатай открыл рот. Закрыл. Посмотрел на Сантори.

И тогда Лоран снял с себя капитанский шарф.

Серо-зелёный, с охряной каймой, повязанный через плечо, — знак капитана Южной армии. Лоран развязал узел, неторопливо, как развязывают шнурок на башмаке, сложил шарф вдвое и положил его на булыжник у ног Сантори. Сверху положил апельсин.

— Капитан Фавье, — сказал он. — В отставке. С этого мига.

Кто-то в строю засмеялся — нервно, коротко, — и замолчал.

* * *

Арман

Я смотрел на их лица.

Это было самое трудное. Не цепь — цепь я снял бы и раньше, если бы знал, как она тяжела. Лица.

Брам в толпе за солдатами — без глаза, от него пахло дёгтем и сонным ароматом, который Ирис варила ему всю осень. Кит без двух пальцев, который носил в лавку уголь. Ещё двадцать человек, кого я знал по имени. Сто — кого знал в лицо. Двенадцать лет. Сорро, Тессийская лига, ночные атаки, переправы, лазареты. Я водил их на смерть, и они шли, потому что знали: я пойду первым.

Теперь им прикажут взять под стражу женщину, которая варила им сон.

Я снял цепь не для себя. Я снял её, чтобы им не пришлось выбирать между мной и императором. Если бы я остался командующим и отказался — они встали бы со мной. Все. И это был бы мятеж. Две роты против гвардии, против трона, против всего, что они клялись защищать. Я знал их. Они встали бы.

А теперь им было кого слушаться. Сантори. Устав. Приказ.

Сантори стоял с цепью в руке и смотрел на меня. Он был хороший комендант и честный человек, и сейчас ему было хуже, чем мне.

— Исполняйте указ, полковник, — сказал я ему тихо. — Не торопясь.

Он понял. Я видел, как он понял.

— Рота! — крикнул он через плечо. Голос у него сорвался, он откашлялся и крикнул снова: — Рота! Оцепить площадь! Искать ведьму Мерель! По всей форме! Обыскать ратушу, рынок и… — он помедлил, — и новую пристань. Начинать от пристани. Тщательно.

Новая пристань была в другом конце города от улицы Медных Весов.

Строй дрогнул. Солдаты переглядывались. Потом двинулись — неторопливо, тщательно, по всей форме, — к пристани.

Я обернулся.

Ирис на площади не было.

Только что она стояла в трёх шагах позади меня, в сером платье, с ящиком. Теперь там стояла Нунция с корзиной рыбы и смотрела на меня невинными глазами. Рядом — Тонио с лотком на голове. Рядом — две прачки матери. Рядом — Ансельм, который ковырял в зубах щепкой и смотрел в небо.

— Где она? — спросил я у Нунции.

— Кто, милорд? — спросила Нунция. — Ведьма? Так ищут же. От пристани. Тщательно.

* * *

Ирис

Кора сунула меня в корыто.

Большое, медное, в котором кипятили простыни, — пустое, тёплое, пахнущее щёлоком. Сверху легли простыни, мокрые, тяжёлые, одна за другой, — шесть, семь, десять, — и стало темно и душно, и я лежала, свернувшись, обнимая свой ящик, и слушала, как Кора грохочет над корытом утюгами и ругается на весь двор.

— А ну пошли отсюда, изверги! Не видите — бельё! Генеральское бельё, между прочим! Сам генерал носит! Тронете — сами будете гладить!

Шаги. Голоса. Кто-то из солдат сказал: «Тётушка, мы только посмотреть». Кора сказала, что она им посмотрит. Шаги ушли.

Я пролежала в корыте до темноты. В тот раз, на площади, я не побежала: беглых пишут на столбах. Теперь меня написали и без бегства — бояться столба стало поздно.

Ночью меня перевели к Ансельму. Через двор, через забор, по крышам дровяных сараев, по которым Нико знал дорогу лучше, чем по улице, — к старому пирсу, где у сваи качалась на чёрной воде лодка Ансельма. Он ждал в ней. Без фонаря.

— Ложитесь на дно, мастерица, — сказал он шёпотом. — Под парусину. Пойдём к рыбачьему сараю за солончаками. Там никто не ищет.

Я легла. Парусина пахла рыбой, смолой и морем. Лодка качнулась, отошла от сваи. Ансельм грёб одной рукой — как, я из-под парусины не видела, — и я слышала, как он дышит, ровно и тяжело.

Рыбачий сарай за солончаками стоял на сваях над водой, у самого края мокрого берега. Внутри пахло сетями, солью и старым деревом. Ансельм зажёг огарок, поставил его в жестяную кружку, чтобы свет не был виден с моря, и оставил мне одеяло, флягу воды и хлеб.

— Утром Мариса придёт, — сказал он. — Или Нико. Вы не бойтесь. Тальма своих не выдаёт.

— Я ведьма, Ансельм. Указом императора.

— Вы мне сон вернули, — сказал Ансельм. — Императоров много. Сон — один.

Он ушёл. Я сидела на куче сетей при огарке в жестяной кружке и думала.

Сабина. Я видела её на площади — мельком, в толпе, высокую, бледную. Я не успела ей сказать. Я сказала потом, через Марису, двумя словами на клочке бумаги: «Он свободен. Он не знает, что вам сказать». И ещё: «Младший больше не трёт висок». Мариса потом рассказывала, что Сабина прочитала записку три раза, села на лавку в задней комнате и заплакала так тихо, что Элена Дорсан не сразу заметила.

Арман. Без армии. Без цепи. Он стоял на площади перед своими солдатами и снимал её через голову, а я смотрела ему в спину и не могла дышать.

Он не арестует женщину, которая сказала правду.

Семь лет назад он не прочитал брачный договор. А сегодня отдал армию, чтобы не взять меня за локоть.

Я не знала, что с этим делать. Я сидела на рыбачьих сетях посреди солончаков и не знала. Нос молчал: «Тишина» лежала на моей коже, и на его коже, где-то там, в городе, не было ничего, что я могла бы понюхать и понять. Только глаза. Только то, что я видела.

А видела я, как у него дрогнули руки, когда цепь звякнула.

* * *

Стук раздался за полночь.

Огарок в кружке почти догорел. Я задремала на сетях, укрывшись одеялом Ансельма, и проснулась сразу, вся, как просыпаются от холода. За дощатой стеной шуршала вода. Ветер дул с моря, и сарай поскрипывал на сваях.

Стук повторился. Слабый, неровный. Не в дверь — в стену, у самого пола, там, где сваи уходили в воду.

— Кто там? — шёпотом.

Тишина. Плеск. Потом — голос. Женский. Тонкий, сиплый, срывающийся, словно человек долго кричал на ветер или долго не говорил вовсе.

— Пожалуйста.

Я подползла к двери. Отодвинула засов. Приоткрыла на ладонь.

На шатких мостках у двери, держась одной рукой за сваю, стояла девушка.

Босая. Мокрая с головы до ног — с волос текло, с подола текло, тонкая серая рубашка прилипла к телу. Губы синие. Ноги в порезах и в иле. Она дрожала так, что стучали зубы. Светлые волосы висели мокрыми прядями, и я не сразу узнала лицо — худое, серое, с огромными голубыми глазами.

От неё ничем не пахло. Ни лилией, ни зеленью, ни нарисованным хлебом. Только морем, илом, холодом и страхом. И ещё — совсем слабо, на самом дне — молоком. Детским, тёплым. Своё.

В кулаке она сжимала комок мокрой бумаги.

За её спиной, на берегу, с прикрытым фонарём стоял Нико.

— Она к тётке Коре в окно стучала, — шепнул он. — Тётка велела вести к тебе.

— Вы сказали, — прошептала Лилиан Корсо, — что поможете.

Она разжала кулак. На ладони лежало моё письмо — то самое, которое я отправила на Мирт с почтовым судном и за которое заплатила втрое. Чернила расплылись, но последнюю строчку ещё можно было прочесть: «Дверь открыта».

— Вы сказали, — повторила она и начала падать.

Глава 7. Запах себя

На третий день Лилиан не вспомнила, как называется ложка.

Она сидела на куче сетей в рыбачьем сарае, завёрнутая в два одеяла — Ансельма и Коры, — и держала в руке деревянную ложку, которой я только что кормила её ухой. Смотрела на ложку. Хмурилась. Потом подняла на меня глаза — огромные, голубые, растерянные, как у ребёнка, который потерялся на рынке.

— Это… — сказала она. — Чем едят. Как это… Я знаю. Я знала.

— Ложка, — сказала я.

— Ложка, — повторила она. И заплакала — не от горя, а от страха, тонко и беззвучно, как плачут, когда пол уходит из-под ног.

Так было все три дня. Слова уходили у неё из головы, как вода из треснувшего кувшина: сначала мелкие, потом крупные. Утром она не вспомнила, как зовут её отца. Днём — какого цвета небо. Ночью проснулась с криком и долго не могла сказать мне, что ей приснилось, потому что не находила слов ни для чего.

Это была не болезнь. Это была отмена.

Она рассказала мне в первую ночь, пока ещё могла рассказывать связно. На Мирте девушкам каждое утро давали флакон. Не тот, что был у неё в Альбере, — другой, тихий, без лилии и без зелени. «Для покоя», — говорили наставницы. После него не хотелось ни плакать, ни бежать, ни думать. Хотелось стоять у окна и смотреть на море. Лилиан пила его — то есть мазала, как мазали все, — сорок дней. А потом перестала.

— Я выливала его в горшок с миртом, — сказала она. — Каждое утро. Мирт засох. А я… я начала думать. Это было страшно. Как будто проснулась в чужом доме.

Теперь, без флакона, её мысли возвращались — но вместе с ними уходило что-то другое. Флакон держал её, как держит повязка сломанную руку. Его сняли — и рука висела.

Один раз она взяла с полки осколок старого зеркала, которое рыбаки держали в сарае, чтобы бриться, посмотрела в него и спросила:

— Кто это?

Я забрала у неё зеркало.

* * *

Мариса приходила каждое утро — по солончакам, по колено в мокрой соли, с корзиной на голове, как ходят прачки. В корзине под бельём лежали хлеб, сыр, уха в горшке, обмотанном тряпками, и записки.

От Коры: «Ешь. Ей тоже давай. Солдаты ищут от пристани, уже до рынка дошли. Тщательно».

От Сабины: «Если нужна моя кровь, мои деньги или мои руки — скажи».

От Армана — одна строчка, прямым жёстким почерком, на обороте счёта за черепицу: «Не приду: за мной ходят. Ты жива — это главное. А.»

Я сложила его записку вчетверо и убрала за пазуху. Потом вынула, перечитала и убрала снова.

На третий день я решила, что ждать больше нельзя.

— Мариса, — сказала я. — Мне нужна молочная нота. И белая сирень. И зеркало — целое, чистое, хорошее. Нико знает, где у Коры то, что висит над комодом.

Мариса смотрела на меня, как на сумасшедшую.

— Сирень, госпожа? Зимой?

— Сирени не будет, — сказала я. — Будет её тень. Принеси жасмин Димоса — он на третьем уступе снизу, — и свежую зелень, какую найдёшь, и ваниль. И рисовую пудру у Элены, у неё есть, я видела.

* * *

— Расскажи мне про детство, — сказала я Лилиан вечером. — Самое раннее. Что ты помнишь раньше всего?

Она сидела на сетях, обхватив колени. Нахмурилась.

— Я не помню слов.

— Не надо слов. Запахи. Что пахло, когда тебе было три года? Два?

Она долго молчала. Я ждала. Ветер свистел в щелях сарая, и вода под сваями плескалась мерно, как дыхание.

— Молоко, — сказала она наконец. — Тёплое. Не коровье. Её. Нона. Кормилица. Она пахла молоком и хлебом и… тёплым. Как подушка. Она держала меня на коленях у окна и пела. Не помню что. — Лилиан закрыла глаза. — А за окном… белое. Много белого. Весной. Сирень. Белая сирень у окна детской, в загородном доме. Отец потом её вырубил: сказал, от неё мухи. Я плакала. Мне было пять.

— Что ещё?

— Мокрое дерево подоконника. После дождя. Она открывала окно, и сирень лезла в комнату, мокрая, тяжёлая. И Нона говорила: «Дыши, рыбка. Это весна».

Я записывала.

Молоко — тёплое, живое, не коровье: рисовая пудра, ирисовый корень, капля бензоя, чтобы было сливочно, и на самой коже — что-то тёплое, как подушка. Белая сирень — тень сирени: жасмин, щепоть зелёного, совсем немного ванили, чтобы цвет был не пряным, а весенним. Мокрое дерево подоконника — дубовый мох, капля, на самом дне.

Я смешала это ночью, при огарке в жестяной кружке, на перевёрнутом ящике вместо стола. Нос устал к полуночи, я нюхала шерсть своего рукава и смешивала дальше. Под утро капнула на ленточку и поднесла к лицу.

Детская. Весна. Открытое окно, мокрое дерево, белая сирень, которая лезет в комнату. Тёплые колени. Молоко.

Это была не Лилиан Корсо, дочь банкира, «истинная» генерала. Это была девочка, которую звали рыбкой.

* * *

Утром я дала ей ленточку.

Она поднесла её к лицу — осторожно, недоверчиво, как берут в руки незнакомую вещь. Вдохнула.

И замерла.

Я видела, как меняется её лицо. Как уходит растерянность из глаз — не сразу, медленно, как уходит туман с воды, когда поднимается солнце. Как разжимаются пальцы на одеяле. Как губы шевелятся, беззвучно, — она что-то вспоминала.

— Нона, — сказала она. — Её звали Нона Брун. У неё был сын, Тим. Он кидал в меня шишками. — Она засмеялась, коротко, удивлённо. — Я помню. Я помню, как это называется. Подоконник. Сирень. Ложка.

Я протянула ей зеркало Коры — целое, в деревянной раме, отмытое Марисой до блеска.

Лилиан взяла его. Посмотрела.

Долго. Я видела, как она смотрит: на худое лицо, на впалые щёки, на светлые волосы, тусклые и спутанные, на тонкую шею, где под левым ухом не было больше никакой метки.

— Это я, — сказала она.

И заплакала. Не тонко и испуганно, как все эти дни, — по-другому, всем телом, с всхлипами, как плачет человек, которого долго держали под водой и вдруг отпустили.

Я сидела рядом и держала её за плечи. «Тишина» лежала на моей коже, и я ничем не пахла, и мне было всё равно.

* * *

Вечером она заговорила сама.

Мы сидели на сетях у двери, открытой на солончаки. Солнце садилось в белую соль, и соль была розовой, и пахло морем, водорослями и мокрым деревом. Лилиан держала флакон «Запаха себя» в ладонях и время от времени подносила его к лицу, как греют руки о горячую кружку.

— Простите меня, — сказала она.

— За что?

— За всё. — Она смотрела на соль. — За бал. За то, что стояла рядом с ним в белом и пахла… этим. За то, что вас погасили из-за меня. При всех. Я видела ваше лицо, когда пар поднялся над курильницей. Я помню его. Я не могла ничего сделать. Я даже не могла захотеть что-то сделать. Я стояла и улыбалась, потому что мне велели улыбаться. — Голос у неё сорвался. — Вы потеряли мужа. Дом. Всё. Из-за меня.

— Не из-за тебя.

— Из-за меня. Это мной вас…

— Лилиан. — Я повернулась к ней. — Посмотри на меня.

Она посмотрела.

— Ты не виновата, — сказала я. — Тебя надушили, как перчатку. Надели на руку, которой меня ударили. Перчатку не судят за удар.

Она смотрела на меня долго. Потом опустила голову мне на плечо — неловко, тяжело, как кладут голову очень усталые люди, — и мы сидели так, пока солнце не село.

— Можно спросить? — сказала она, не поднимая головы.

— Спрашивай.

— Он вас любит?

Я долго смотрела на соль.

— Не знаю. Он отдал армию, чтобы не взять меня за локоть. А я ношу «Тишину», чтобы понять, кого он любит, — меня или мой запах.

— Меня он не любил, — сказала Лилиан. — Я это знала даже под флаконом. Его зверь меня нюхал. Тянулся, ходил за мной, смотрел. А он сам… — Она помолчала, подбирая слова, которые только-только вернулись. — Он на меня не смотрел. Ни разу. Смотрел сквозь, как через стекло. Я стояла рядом с ним на балу и думала: вот так, наверное, стоят рядом с человеком, который смотрит в окно на дождь.

— А на меня?

Лилиан подняла голову.

— На площади, когда снимал цепь, — сказала она, — вы стояли у него за спиной. Он не мог вас видеть. А всё равно повернул голову. Чуть-чуть. Не носом — плечом. Как поворачиваются, когда за спиной кто-то, за кого страшно.

— Ты была на площади?

— Я пряталась на крыше пекарни. Ждала темноты. — Она слабо улыбнулась. — Я видела.

— Там их двенадцать, — сказала она потом, в темноте. — На Мирте. Девушек. Таких, как я.

Я не пошевелилась.

— Рассказывай.

— Дом на скале, над бухтой. Белый, с миртом во дворе. Его зовут Дом исправления, а на деле… — Она сглотнула. — Нас учат стоять. Ходить. Смотреть в пол. Улыбаться, когда он смотрит. Каждую — под одного. У каждой — свой портрет на стене в её комнате: лорд, которого ей отдадут. Мы учим их лица. Их голоса — нам читают их письма вслух. Их привычки. А по утрам — флакон. Сначала тихий, для покоя. А потом, за месяц до отъезда, — другой. С меткой.

— Кто там главная?

— Смотрительница. Альба. — Лилиан передёрнула плечами. — Светлая. Всегда в зелёном. Ей лет сорок, может больше, но выглядит моложе. Добрая. Ласковая. От неё всегда болит голова.

Светлая. В зелёном. От неё болит голова.

Я знала эти слова. Я слышала их осенью, на кухне прачечной, хриплым портовым голосом: «А потом поехал в столицу и вернулся с ней. Светлая такая. В зелёном… Помню, что голова от неё болела».

Двадцать два года назад. Отец Армана.

Я ничего не сказала Лилиан. Я положила это отдельно — как кладут на край стола письмо, которое страшно открыть.

— Кто ещё там?

— Бьянка. — Лилиан подняла голову. — Моя Бьянка. Её привезли на Мирт ещё осенью, после того как она пропала в Тальме. Она стирает. Она меня и спрятала — в бельевой корзине, на почтовом судне, когда оно привезло ваше письмо. — Лилиан разжала кулак. Там всё ещё был смятый комок бумаги. — Она его мне принесла. Сказала: «Барышня, бегите. Эта поможет».

Бьянка. Горничная, которая сказала в темноту «Иду» и пропала из «Якоря». Жива.

— А девушки? — спросила я. — Ты знаешь, чьи у них портреты?

— Некоторых. — Лилиан стала загибать пальцы. — Флора — у неё был адмирал Монтеро, она уехала в начале осени. Вероника — лорд Дорсан. Ещё одна — какой-то старый лорд с севера, я не запомнила имя. Рыжая, Тесса, из Ларго — её когда-то выгнали из школы носов, потому что она всё время плакала, — у неё портрет лорда Ренье. — Она помолчала. — А Мелисса…

Рыжая из Ларго. Я вспомнила её — сразу, как вспоминают запах: девочка в нашей спальне под крышей Башни, десять лет назад, худая, конопатая, которая плакала по ночам в подушку и которую на следующее утро после страшной сказки про «Пустоту» отправили домой. «За непослушание», — сказала тогда смотрительница. Ей было лет двенадцать. Теперь — за двадцать. И у неё на стене висел чужой портрет.

— Что Мелисса?

— Мелиссу готовят дольше всех. Полгода. Ей восемнадцать, она красивая, как картинка, и у неё портрет на стене не лорда. Смотрительница сама каждое утро ставит ей флакон. И говорит: «Весной, девочка. Весной — для принца».

Я сидела в темноте и не могла вдохнуть.

Принц. В империи был один принц.

— Эмиль, — сказала Лилиан. — Его высочество Эмиль. Наследник.

Над солончаками висел тонкий молодой месяц, и соль под ним светилась белым, как снег, которого в Тальме не бывает.

Монтеро. Дорсан. Ренье. Мой бывший муж. Сорок лет назад — старый Монсо. Двадцать два года назад — его отец, если я права.

А весной — наследник престола.

Глава 8. Небо над Тальмой

Собак привезли на пятый день после указа.

Шесть гончих Гильдии — поджарых, серых, с узкими мордами и длинными ушами, на ремённых сворах, — и с ними двух псарей в янтарно-серых куртках. Их сгрузили с гильдейского судна вместе с императорской гвардией: тридцать человек в белом, с гербом Альбери на груди, с капитаном, который не улыбался. И три носа Башни — в сером, в перчатках, с узкими лицами.

Мариса принесла это в корзине вместе с хлебом.

— Собаки нюхали ваш фартук, госпожа, — сказала она, белая, запыхавшаяся. — В лавке. Гвардейцы взломали дверь. Нюхали фартук, ваш тюфяк, ваше кресло — бабушкино. И не взяли след. Покрутились, поскулили и сели. Женщина-нос ругалась.

Я кивнула. «Тишина». Собаки чуяли меня как закрытую дверь: что-то есть, а чем пахнет — непонятно. По закрытой двери след не возьмёшь.

— А потом, — сказала Мариса, — женщина-нос достала из сумки платок. Маленький, кружевной. И дала собакам.

Я перестала кивать.

— Чей?

— Не знаю, госпожа. Но собаки взяли сразу. И пошли. К старой пристани. — Мариса посмотрела на Лилиан, которая сидела на сетях с флаконом «Запаха себя» в ладонях. — От пристани — вдоль берега. К солончакам.

Лилиан побелела.

— Это мой, — сказала она. — Мой платок. С Мирта. Его забрали в первый же день. Сказали — для стирки.

Девочка без «Тишины». Девочка, которая пахнет молоком и белой сиренью, и чей запах Гильдия держала в шкатулке с первого дня.

— Сколько у нас времени? — спросила я.

— До темноты, — сказала Мариса. — Солончаки большие. Нунция и рыбачки уже вывалили на тропу три бочки рыбьих потрохов. Прачки развесили мокрое бельё поперёк всех переулков у пристани — с уксусом, тётка Кора велела. Тонио сыплет перец у пекарни. Собаки чихают. — Она шмыгнула носом. — Но собаки — они упрямые.

* * *

Я поднялась на крышу сарая, когда начало темнеть.

Солончаки лежали вокруг белые, плоские, бесконечные — до самого горизонта, где серое небо сходилось с серым морем. Ветер дул с суши, холодный, пахнущий мокрой землёй и солью. Со стороны города, далеко, у самой дамбы, двигались огоньки. Фонари. Десятка два, цепью. И лай — тонкий, злой, переливчатый, — то стихающий, то снова поднимающийся.

Они шли.

Лилиан стояла внизу, у двери, завернувшись в одеяло Ансельма. Нико сидел на мостках, свесив ноги над водой, с Фитилём под боком, и смотрел на огни. Фитиль глухо рычал.

Я считала. Огни — в половине лиги. Солончаки вязкие, гвардейцы в сапогах, собаки на сворах. Полчаса. Может, меньше. Лодки Ансельма — у старой пристани, где гвардия. По берегу — только туда, откуда шли огни. В другую сторону — болото и море.

Некуда.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.